

Ирина Егорова ЛЕНИВЫЙ ВОЗДУХ ОДЕССЫ

В Одессе удивительный воздух — ленивый, и чувственный, и в то же время пропитанный живительными импульсами, как первобытный, доисторический бульон, в котором зародилась жизнь.

Начиная с весны, затапливающей весь город пьянящим духом акаций, и до поздней осени, поlyingающей желто-красными листьями, Одесса не устаёт потчевать своих обитателей потоками солнца различного накала, букетами вкусов, цветов, запахов, солеными объятиями моря и ветра, звуками прибой и шумом "Привоза", горячими улыбками и перченными шутками, рассыпанными нехотя и где попало.

И только серой слякотной зимой Одесса засыпает, становясь отстраненной и безучастной; таится где-то в глубине своих снов.

Смешно, но и я была когда-то маленькой девочкой.

И с каждым днем мне все легче удавалось взбираться на стул, а сиденье, которое было сначала на уровне носа, становилось все ниже и ниже — по грудь, по пояс... а однажды я тянулась, тянулась, встала на цыпочки и положила подбородок на стол.

Тогда все вокруг было очень-очень большое — большущая комната с двумя огромными окнами и высоченным зеркалом между ними; моя кроватка у стены; подушка, такая мягкая и любимая, на которой можно было уместиться целиком, если хорошо свернуться калачиком, и сладко засыпать под стук бабушкиной швейной машинки.

А потом, когда я была уже не очень маленькой девочкой, настал один момент, который пронзил меня насковозь солнечным светом, как стрекозу булавкой, и пригвоздил на веки вечные прямо к Богу в петлицу.

Было лето, я стояла перед зеркалом, которое умещало меня всю целиком. Из окна лупило солнце и, отражаясь в зеркале, затапливало мне лицо, волосы, глаза. И вдруг я *поняла*, что — *родилась и живу*. Прочувствовала эту ликующую радость всем существом — насковозь, навывлет: что у меня есть я, со смуглой кожей и струящимися золотыми волосами, что во мне пульсируют, затаившись, немеренные силы и возможности. А ведь всего этого могло и не быть! (У меня были все шансы вовсе не родиться.) И осторожная, как тайный сговор, благодарность потекла золотой нитью к Тому, кто одарил меня всем этим богатством.

Теперь, когда мне бывает больно или пусто, тоскливо или бессмысленно, я заглядываю в это мгновение, как в бездонный колодец, сквозь который видны золотые прииски моей судьбы. И тогда, алчным золотоискателем, я начинаю понимать, как много из обещанного все еще не сделано, как много упущено и как много еще нужно, нужно сделать — во что бы то ни стало.

И больше всего я задолжала этому трепещущему золотому рыбкой ощущению бытия, которое обязано оставаться во всем, что я делаю, к чему прикасаюсь.

Весна в тот год совпала с первой "взрослой" любовью, с ощущением, что я — девушка, с распирающе-томьющей болью растущей груди и поющим, как струна, телом, пружинистое изгибающимся во время ходьбы. А взгляды чутко воспринимались всей кожей и были почти равносильны прикосновениям. Влажный от весенних дождей ветер проглаживал лицо и шею, запускал свои пальцы в гущу волос, от чего они кудрявились пыльным ореолом, от чего они кудрявились пыльным ореолом и волнисто развевались сзади вдогонку моим стремительным шагам.

Ветер в меня влюбился —
Сладкий, щекощущий, пьянкий —
Впивается в ноздри, в губы —
Начало моей изнанки.

Сжимает виски в ладони,
Затылок сжимает в локти
И тычется лбом холодным
В мой лоб в сигаретной копоты...

Слова брались неизвестно откуда, вертелись назойливо, как насекомые, копошась и мешая до тех пор, пока не найдут своего законного места в строке. Я шла к папе своим любимым маршрутом: Пушкинская, Приморский бульвар, Дюк, Воронцовский дворец, Театральный мост, еще бульвар и — папина мастерская. Здесь, среди могучих платанов на Пушкинской, вспоминались разговоры таких взрослых курящих поэтов и пантомимщиков, испещренные шутками и намеками, ленивыми движениями и острыми переглядками. И обволакивающее присутствие ЕГО, любимого, физически ощущаемые его приближение и удаление, обоюдное начеленное внимание, внезапные разряды касаний или всполохи взглядов.

К нашему двадцатилетнему руководителю студии пантомимы стекались приятели его же воз-

раста, очень зрелые и мыслящие, как казалось тогда мне, четырнадцатилетней. А я (самая маленькая в студии, по прозвищу Малая) почему-то частенько присутствовала на их бурных обсуждениях проблем мирового масштаба, иногда сопровождавшихся стихами, песнями, танцами и сухим вином. И страшно вдруг становилось от крамольной мысли — проговорить им что-нибудь из моих сложившихся где-то в мыслях (и со страху даже не записанных тогда!) строчек:

У меня душа — страстная,
У меня шаги — быстрые,
У меня ладонь — ясная,
У меня глаза — чистые.

Я люблю ходить голая,
У меня спина смуглая,
У меня длинные голени,
В волосах — волна круглая.

Я — ведьма, богиня, чертовка, русалка,
И мне ни единой души
Не жалко, не жалко, не жалко, не жалко —
Глаза мои так хороши.

И волосы выются, как флаги на мачте,
И пальцы тонки у руки.
Любите, желайте, стеньяйте и плачьте,
Смотрите, как ноги легки!

Как ноги легки, и длинные, и проворны,
Как стройные бедра круты...
И это из сердца не выдернешь с корнем
Ни ты, и ни ты, и ни ты!

Нет! Нет!! Как можно — такое? Неприлично, стыдно, и вообще... Ведь они же уже — !!! А я еще — ???

И вот, пропитавшись, как ром-баба, пьяными весенними запахами и соленым морским духом, вздымаюсь к папиной мастерской, на верхний этаж. На лестничной площадке — рамы и холсты, лицом к стенке, перемазанная красками дверь с умолкнувшим неизвестно когда звонком. Стучу, как умею, пощелкает хило. После долгой паузы в глубине — шевеление, дверь открывается — папа с пучком измазанных кистей вытирает руки о тряпицу. Сразу же бьет в нос такой родной (и такой желанный до сих пор) запах масляных красок.

Папа пропускает меня, говорит, чтобы я занялась чем-нибудь, торопливо дает куски ватмана, коробочку с пастельными мелками. От сочетания и брожения вокруг меня огромного количества цветов разного накала и концентрации внутри что-то радостно стонет. Картины — законченные и только начатые, недоплетенный гобелен, большущие мотки ниток к нему, набросанные рядом, — таких вибрирующих тонов, что в горле возникает комок от непонятого восторга. Пастельные мелки дразнят многообразием, и каждый хочется схватить первым... Папа жадно вливается кисточками в холст, лихорадочно мучает краски на палитре, иногда с остервенением выдавливает остатки из тюбика и снова набрасывается на холст.

Я, как всегда при виде папы, начисто теряю дар речи. Что бы я ни сказала — кажется мне, — все будет абсолютной мурой, и папа с ядовитой иронией прищурит глаз, соорудит свою коронную гримасу и отпустит какое-нибудь едкое замечание, от которого хочется стереться с лица земли. Надо сказать, что со мной он как раз всегда обходится довольно бережно и даже ласково. Но я видела, как иногда он отбрасывает других... и потому молчу, как последняя идиотка. Пробую выразить свой безутешный восторг мелками по ватману.

Папа делает передышку, отваливает от холста, вытирает руки. Поглядывает в окно на море, корабли и подъемные краны. Мимоходом взглянув на меня, вдруг зацепляется взглядом, потом прикрывает один глаз, пытается меня поточнее сфокусировать и скомпоновать. Я, чувствуя себя дичью в прицеле охотничьего ружья, пытаюсь рыпнуться.

— Стоп! Сиди так... подожди... — и папа, чтобы не спугнуть дичь, хватая лист бумаги, прищандоривает его на что-то, берет пастельные мелки. — Так, так... чуть-чуть головку правее... нет, много... так, так, да, — и начинается быстро-быстро набрасывать мой портретик.

А я стараюсь не шевелиться, по опыту зная, что любая попытка переменить участь вызовет у папы бурю протеста и озверения. Ничего не остается, как думать о влажном весеннем ветре, о море, о платанах и совсем тайком — о колечках дыма от сигареты любимого.

Когда рисунок закончен, с трудом возвращая телу подвижность, подхожу, смотрю на портрет. А там — надо же! — и весенний ветер, притихший в волосах, и море, и затаившийся, спрятанный где-то далеко-далеко в глазах любимый.

И вот, наконец, такое долгожданное первое свидание.

Гусеница ползла по ветке куста, молодая

и зеленая, как всё вокруг. Она старательно подтягивала хвост, выгибая туловище, а потом с гимнастической ловкостью разгибалась, будто пыталась измерить длину своего пути в гусеницах.

Мы сидим на скамейке под кустом. Запах прогретой весенней зелени смешивается с запахом моря. Солнце устало на нас, как на школьников, еще не напроказивших, но явно замышляющих что-то запретное. Он раскинул руки по спинке скамейки. Так я оказалась уже наполовину приобнятой, по крайней мере, смиренно замершей где-то у него под крылом. И каждая мурашка на коже мучительно просит, чтобы эти не состоявшиеся еще объятия сомкнулись уже на самом деле!

Он повернул голову, испытующе заглянул в меня. Я увидела зеленые глаза с загнутыми золотистыми ресницами, которые смотрели на меня с той же пронизательностью, что и солнце. Стало ясно, что двоечника здесь — только я. Конечно, мне же еще только 14, а ему — уже 20! Паника внутри привела меня к полному столбняку... правда, какому-то блаженному.

— Малая! Знаешь, как называются эти цветы? — он наклонился и сорвал среди подорожково-ершистой травы несколько маленьких желтых цветочков.

— ...Нет, не знаю, — ответила я, понимая, что проваливаю первый серьезный экзамен.

— Они называются "гусиные лапки", это мои любимые цветы.

— Я тоже люблю все желтое, — пульс во мне начал беспорядочно метаться по всему телу.

— Ну, тогда я тебе их дарю!

Тут в голове моей заскакали незнамо откуда поступающие справки: дарить желтые цветы — к обману, к измене, к разлуке...

— Нет, — пискнула я виновато и беспомощно, — желтые цветы дарить нельзя...

— Эти — можно, — убежденно заявил он и сунул мне в ладошку махонький букетик.

Я уставилась в цветочные наивно растопыренные мордочки, не очень понимая, радоваться мне или печалиться. Застав меня врасплох, он прикоснулся губами к моим губам. В первую секунду я одеревенела от неожиданности. А потом его руки стали обволакивать меня — затылок, спина, плечи, грудь; вокруг меня свивался теплый кокон, и я по несласу куда-то в глубь жизни, навстречу сладкому, как нектар, вкусу... у-у-у-У-У...

И вдруг я зависла над поляной. Внизу, на лавочке, сидели двое — я, как-то по школьному сидя с аккуратно сомкнутыми коленками, зажав в ладошке "гусиные лапки", и он, обвив, как плющ, мои плечи и талию. Мои волосы разлились с запрокинутой головы золотыми волнами по его рукам. Казалось, двое жадно пьют друг друга и никак не могут напиться... Это длилось вечно.

Гусеница старательно и истоиво подтянула хвост... сочный дух листа... Хрясть — и остеренные зубки впиваются в его зелень... о!.. еще, еще... кусь... кусь... да, да... вот так и должно быть... всегда... да... да... да...

Хоп... и я снова здесь, в своем теле... Ничего не понимаю... Мы как-то с трудом отлепились друг от друга. Плечом я вписалась ему в подмышку. Перед глазами — его ухо и слегка небритая щека... он с трудом переводит дыхание.

— Малая! Ты меня любишь?

И снова паника. Как?.. что надо говорить?.. это можно... — говорить "люблю" вот так, сразу?..

— Н-не знаю... — не найдя ничего умнее, ответила я.

— Как "не знаю"? — Он смотрит на меня с явным раскаянием. — Малая!.. Запомни: целоваться и отдаваться можно только по любви.

— Да, да. Я люблю тебя... люблю! — И я даже, кажется, вскакиваю... Но, как же теперь все это звучит глупо и неудачливо! Детский лепет на лужайке... а-а-а... какая же я дура!

Он нехотя, но неотвратимо выпрямляется, приглаживает мои волосы... ребенка по головке погладил — мелькает у меня...

И, кажется, что-то еще говорится... как в вакууме... а вскоре он ведет меня домой и, в общем-то, ласково прощается у подъезда.

В серой прохладе я поднимаюсь по лестнице, упрямо перешагивая через две ступеньки... Вдруг замечаю зажатые в кулаке цветы. Они уже повисли в полубоморочном состоянии... а я и не заметила, как удушила их. И тут мордочка моя вся скрючивается, а из глаз гуще и сладко выкатываются слезищи, бороздят щеки, подбородок, валяются прямо на "гусиные лапки".

— Ы-ы-ы-ы!.. Бестолочь!.. Какая же я бестолочь!..

Если бы я знала тогда, сколько еще будет у меня с ним и слез, и радостей...

И какими потрясениями еще одарит меня этот непостижимый, родной, вечно молодой и вечно притягательный город!..

Россия, Москва.

Рита БАЛЬМИНА

Ту, мою Одессу детства,
Доживавшую на идиш,
Выживая не по средствам,
Лишь во сне теперь увидишь.

Там с балкона — стрелы кранов,
Кораблей заморских трубы.
Порт рычит Левиафаном,
В рупор матерится грубо.

Дух из коммунальной кухни —
Жухлый, луково-чесночный...
Над кастрюлей тети Рухли —
Муж ее беспозвоночный.

Боцман Гольц пришел из фрахта,
Пьет уже шестые сутки
И жену — проклятой шляхтой —
Обзывает проституткой.

Вьется над двором былинным,
Где субботний отдых тяжок,
На веревке — длинным клином —
Стая выцветших тельняшек.

А под ней "козла" со стуком
Забивают ветераны.
Улыбаются толстухам
Нелли Харченко с экрана.

На втором клопов морили,
Гольц нажрался, как скотина...
В небеса — хвалой Марии —
Ангел звука — Робертино.

О. Ильницкой

...И Одессы не бывало.
Аппетитно и красиво
Стюардесса наливала
Кофе и аперитивы,
Улыбаясь, как реклама
Для зубного кабинета.
Ты была, Одесса-мама,
Или мне приснилось это?
Словно два больших удава,
Поглощающих друг друга,
Город слева, город справа —
Круг сжимается упруго,
Укрывая колоннаду
Бархатом зеленых склонов —
И не вымолит пощады
Сыновьям лаокоонов.
...Стюардесса наклонилась,
Сексапильная на диво.
Через час впаду в немилость
Пыльных улиц Тель-Авива.

Пейзаж пустыни —
не самый разнообразный из виденных
по жизни, видео и телевидению.
Он пересечен густо камнями зернами,
не поросшими городами
многоэтажно просторными.

Потом засит глаза,
но взгляд упирается твердо
в жесткую синусоиду горизонта,
в тусклую мертвость песка и скал...
Чем ты стал и чего искал
в этом краю, где противоестественно
вертикали выглядят? Соответственно,
очень хочется встать, и чтоб грянул гром,
и чтоб ливень смыл этот зной, — потом
взгляд скользнет

по вычурно эклектичным фасадам,
буржуазной беседке,
зеленым льявам Городского сада,
по фонтану с радугой и сутолке вселенской
на углу Дерibasовской и Преображенской.

Приморский бульвар

Устно, письменно, мысленно
или посредством астральной связи...
Городские куранты над Пушкиным

громко и гулко,
голубая струя — голубям на чужинной вазе;
не иду по бульвару, а припоминаю прогулку.
На скамейке старухи

о чем-то беззубо смеются,
из колясок младенцы,
а им еще плакать и плакать,
и потрескалось ветками
тверди молочное блюдо,
и по капле, по капле туман
превращается в слякоть.
У Потемкинской лестницы — парочки:
место свиданий,

только Дюк одинок.
Вы от зависти позеленели,
господин Ришелье,
или вязкая сыроке апреля...
Может, вместе, под ручку,
вдоль этих закрученных зданий,
мимо голых платанов, ручных голубей,
а над нами — куранты?
(Жаль, народ из аллея разбежался, шалея.)
Вам давно надоел одинокий удел эмигранта?
Так пожалуйста! Может быть, Вас пожалеют.
Устно, письменно,
мысленно или посредством жеста.
А всего вероятней —
вернут и поставят на место...

США, Нью-Йорк.